

A soldier in a helmet and uniform is riding a horse through a field. The soldier is seen from behind, wearing a green helmet and a brown uniform. The horse is brown and is walking towards a large, ornate building on a hill in the background. The building has many domes and spires, suggesting it might be a cathedral or a palace. The scene is set in a rural area with a wooden building on the left and trees in the background. The overall atmosphere is somber and historical.

Юай Чоксахват

**Конный  
порядок.**

Юай Чоксахват  
**Конный порядок.**

«Автор»

2026

## **Чоксахват Ю.**

Конный порядок. / Ю. Чоксахват — «Автор», 2026

Командир конной бригады живёт между фронтом и короткими остановками в чужих домах. Война кажется временной паузой перед будущим, которое уже обещано — Москва, лечение, школа, новая жизнь. Но каждый приказ, каждый ночной выезд и каждый поцелуй на руинах старого замка приближают цену, которую нельзя отложить до победы. Любовь, долг и жестокость идут рядом и не оставляют места для наивной надежды. «Конный порядок» — военная проза о фронте, чувствах и человеке, который слишком поздно понимает, что счастье не гарантировано победой. --- Современная художественная адаптация для электронной книги. Автор текста: Yuai Choksahwat. 2026. Не является сканом или переизданием классического издания.

© Чоксахват Ю., 2026

© Автор, 2026

## Юай Чоксахват Конный порядок.

Конный порядок  
Yuai Choksahwat  
Серия «Книга времени»

Поцелуй

В начале августа из штаба корпуса пришел приказ о передислокации нашей бригады в Зареченск. Городок, отбитый нами у наемников еще весной, теперь служил перевалочным пунктом. Подразделения втягивались в Зареченск постепенно, я прибыл ближе к вечеру. Лучшие квартиры, естественно, уже распределили, мне досталась комната в доме местного фельдшера. В небольшой, заставленной аквариумами с экзотическими рыбками, сидел в инвалидном кресле старик. На голове у него была вязаная шапочка, а седая борода почти полностью закрывала грудь. Он что-то пробормотал, глядя мутными глазами. Быстро приведя себя в порядок, я отправился в штаб, вернувшись только под утро. Дежурный, ефрейтор Сидоркин, парень из под Рязани, доложил обстановку: кроме парализованного фельдшера в доме проживает его дочь, Ирина Петровна Соболева, и ее пятилетний сын, тоже Сидоркин, в честь ефрейтора; Ирина Петровна вдова, муж погиб еще в четырнадцатом, держится скромно, но, по словам Сидоркина, для хорошего человека может и оттаять.

— Ясно, — сказал я, а он, удалившись на кухню, принялся греметь посудой; дочь фельдшера помогала ему. Пока он там хозяйничал, Сидоркин успел рассказать Ирине Петровне о моих подвигах, о том, как я лично подбил вражеский танк и как меня уважает командование. Ему отвечал тихий, сдержанный голос Соболевой.

— Ты где спать будешь? — спросил ее Сидоркин на прощание. — Ты поближе к нам располагайся, мы люди простые...

Он внес в комнату огромную сковороду жареной картошки с грибами и поставил ее на стол.

— Стесняется, — сказал он, усаживаясь, — а так не против...

И в тот же миг в доме поднялся приглушенный шепот, шуршание, тихая возня. Мы едва успели попробовать наше солдатское угощение, как в дом потянулись старики с палочками, старухи, закутанные в платки. Кровать маленького Сидоркина перенесли в гостиную, прямо к аквариумам, рядом с креслом деда. Немощные гости, решившие защитить честь Ирины Петровны, сгрудились в углу, как перепуганные куры, и, забаррикадовав дверь, всю ночь тихо переговаривались, вздрагивая от каждого шороха. За этой дверью я не мог уснуть от неловкости, от смущения и с нетерпением ждал рассвета.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Ирину Петровну в коридоре, — к вашему сведению, я закончил юрфак и, так сказать, принадлежу к интеллигенции...

Она замерла, опустив руки, в старом халате, словно сшитом по ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели большие, полные слез, серые глаза.

Дня через два мы уже по-настоящему сдружились. Страх и полная неопределенность, в которой жила семья этого учителя, добрейшие и беззащитные люди, казались беспросветными. Местные власти внушили им, что Россия в хаосе и разрухе исчезла, как когда-то канул в Лету Рим. Детская, робкая радость охватила их, когда я рассказывал о новых порядках, о Москве, где кипит жизнь, о современном искусстве. Вечерами к нам заглядывали молодые командиры, лет двадцати двух, с немного рыжеватыми бородами. Мы курили столичные сигареты, ужинали тем, что готовила Антонина Петровна из армейских запасов, и пели песни юности. Прикованный к креслу старик внимательно слушал, подавшись вперед, и его старая кепка тряслась в

такт мелодии. Все эти дни он жил, охваченный внезапной, бурной, неясной надеждой, и, чтобы не омрачить свое счастье, старался не замечать в нас бравады и той громогласной простоты, с какой мы решали все мировые проблемы.

После окончания контракта – так решили на семейном совете – семья Кузнецовых переедет в Москву: старика мы определим к известному врачу, Антонина Петровна пойдет учиться, а Мишку мы устроим в ту самую школу в центре, где когда-то училась его мать. Будущее казалось нашей неоспоримой собственностью, служба – бурной подготовкой к счастью, а само счастье – чертой нашего характера. Не решены были только детали, и в их обсуждении проходили ночи, долгие ночи, когда огонек свечи отражался в бутылке домашней настойки. Расцветшая Антонина Петровна молча слушала нас. Я никогда не встречал человека более порывистого, свободного и робкого. Вечерами хитрый Егоров катал нас в конфискованном еще на юге плетеном джипе к холму, где в лучах заката виднелся заброшенный особняк семьи Воронцовых. Поджарые, но длинноногие внедорожники резво бежали по разбитой дороге; в ухе Егорова покачивалась серьга, полуразрушенные башни поднимались над оврагом, поросшим травой. Обвалившиеся стены чертили в небе неровную линию, куст шиповника прятал плоды, а голубая плитка, остаток лестницы, по которой когда-то поднимались важные гости, поблескивала в зарослях. Сидя на ней, я однажды притянул к себе Антонину Петровну и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, схватившись за стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ее головы кружился луч света, потом, вздрогнув и словно прислушиваясь к чему-то, Кузнецова подняла голову; пальцы ее оторвались от стены; путаясь и ускоряя шаг – она побежала вниз. Я окликнул ее, но она не ответила. Внизу, развалившись в джипе, спал довольный Егоров. Ночью, когда все уснуло, я прокрался в комнату Антонины Петровны. Она читала, держа книгу на расстоянии: рука, упавшая на стол, казалась безжизненной. Услышав шум, Антонина Петровна поднялась.

— Нет, — произнесла она, пристально глядя на меня, — нет, мой дорогой, — и, обхватив мое лицо своими тонкими, сильными руками, одарила меня долгим, нарастающим, безмолвным поцелуем. Звонок телефона в соседней комнате оторвал нас друг от друга. Звонил дежурный из штаба.

— Подъем, — сообщил он в трубку, — приказ явиться к комбригу...

Я выскочил без шапки, на бегу засовывая документы в карман. Со дворов выводили технику, в темноте, перекликаясь, спешили бойцы. У комбрига, который натягивал на себя плащ-палатку, мы узнали, что противник прорвал оборону под Белгородом и что нашей бригаде поручена задача по окружению. Оба батальона выступали через час. Проснувшийся старик с тревогой наблюдал за мной из-под навеса террасы.

— Скажи, что вернешься, — твердил он, качая головой.

Анна Петровна, накинув куртку поверх ночной рубашки, вышла проводить нас на улицу. В темноте с ревом промчалась колонна техники. На выезде из поселка я обернулся — Анна, склонившись, поправляла капюшон на девочке, стоявшей перед ней, и тусклый свет фонаря, горевшего на крыльце, падал на ее тонкую шею...

Пройдя без отдыха сто пятьдесят километров, мы соединились с 22-й мотострелковой дивизией и, отбиваясь, начали отход. Мы дремали в броне. На коротких привалах, измученные сном, мы валялись на землю, и машины, натягивая трос, тащили нас, спящих, по обочине дороги. Начиналась осень и моросили бесконечные дожди. Сбившись в молчаливую, измотанную группу, мы блуждали и кружили, попадали в окружение и вырывались из него. Время потеряло для нас значение. Размещаясь на ночлег в заброшенном ангаре, я и не вспомнил, что мы находимся в пятнадцати километрах от Ольховки. Напомнил Егоров, мы обменялись взглядами.

— Главное, чтобы техника не подвела, — сказал он устало, — а то бы съездили...

— Нельзя, — ответил я, — заметят ночью...

И мы поехали. К броне нашей были прикреплены гостинцы — ящик тушенки, теплая куртка и живой двухмесячный котенок. Дорога шла через мокрый лес, свет фар метался в кронах деревьев. Меньше чем через час мы доехали до поселка, разрушенного в центре, заваленного обгоревшими грузовиками, разбитой техникой и обломками зданий. Не вылезая из БМП, я постучал в знакомое окно — белая занавеска колыхнулась в комнате. Все в той же ночной рубашке с оторванным рукавом Анна выбежала на улицу. Дрожащей рукой она взяла мою руку и втащила в дом. В большой комнате на сломанной мебели сушилась одежда, незнакомые люди спали на матрасах, разложенных вплотную, как в госпитале. Выставляя грязные ноги, с пересохшими губами, они хрипло стонали во сне и жадно дышали. Дом был занят штабом, семья Анны ютилась в одной комнате.

— Когда вы нас вывезете отсюда? — сжимая мою руку, спросила Анна Петровна.

Проснувшись, старик потрянул головой, словно отгоняя наваждение. Маленький Егорка, прижимая к себе найденного во дворе котенка, беззвучно хохотал от восторга. Над ним, насупившись, стоял Игнатов и вытряхивал из карманов своих камуфляжных штанов гильзы, пробитые жетоны и свисток на выцветшем шнурке. В этом доме, занятом штабом ротации, спрятаться было негде, и мы с Верой ушли в сарай, где обычно хранили дрова и старые автомобильные покрышки. Там, в полумраке, я вновь ощутил, как неотвратим и губителен был путь нашего поцелуя, начавшегося у сгоревшего торгового центра...

Незадолго до рассвета в дверь сарая постучал Игнатов.

— Когда вы нас вывезете? — спросила Вера, отводя взгляд.

Я промолчал и направился в дом, чтобы попрощаться со стариком.

— Главное, что времени нет, — преградил мне дорогу Игнатов, — садитесь, поедем...

Он вытолкнул меня на улицу и подвел к "УАЗику". Вера подала мне свою похолодевшую руку. Как всегда, она держала голову прямо. Машина, заправленная ночью, рванула с места. В черном переплетении проводов поднималось багровое солнце. Утреннее оживление переполняло меня.

Впереди показалась промзона, я попросил остановить машину и, обернувшись, крикнул Игнатову:

— Дайте еще побыть... Рано выгнали...

— И то не рано, — ответил он, выравниваясь и отводя рукой мокрые от росы ветки, — если бы не старик, я бы и раньше выгнал... А то разговорился старый, разволновался, кряхтит и на бок заваливаться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, отмучился...

Промзона закончилась. Мы выехали на поле, изрытое воронками. Привстав, поглядывая по сторонам и насвистывая, Игнатов выискивал правильное направление и, определив его, пригнулся и прибавил газу.

Мы приехали вовремя. В расположении бригады поднимали людей по тревоге. Солнце пригревало, обещая знойный день. В это утро наша бригада должна была пересечь бывшую административную границу области.

Песня

На постое в поселке Заречном мне досталась сварливая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я открыл много замков на ее сараях, но не нашел там ничего полезного.

Мне нужно было как-то выкручиваться, и вот однажды, вернувшись домой раньше обычного, до наступления темноты, я увидел, как хозяйка закрывала заслонку у еще горячей печи. В доме пахло борщом, и, возможно, в этом борще было мясо. Я почуял мясо в ее борще и положил пистолет на стол, но старуха отпиралась, у нее задергалось лицо и скрючились черные пальцы, она потемнела и смотрела на меня с испугом и неприкрытой ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я бы добился своего с помощью пистолета, если бы мне не помешал в этом Сашка Конев, или, как его еще называли, Сашка "Спас".

Он вошел в дом с баяном под мышкой, его крепкие ноги болтались в стоптанных берцах.

— Споем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, полные синей усталости. — Споем песни, — повторил Сашка, присаживаясь на лавку, и наиграл вступление.

Задумчивое вступление звучало словно издалека, казак прервал его и посмотрел на меня своими синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, заиграл казачью песню.

«Выйду в поле с конем... — запел он, — там вдаль по полю пойду...»

Я обожал эту мелодию. Димка знал об этом, потому что мы оба – он и я – впервые услышали её в двадцать втором году под Кременной, в районе Голубых озёр.

Один местный егерь, промышлявший в заповеднике, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, нерестится рыба и гнездятся бесчисленные стаи птиц. Рыба кишит в озёрах в невообразимом количестве, её можно черпать вёдрами или просто ловить руками, и если воткнуть в воду весло, оно будет стоять вертикально – рыба удерживает его и несёт с собой. Мы видели это своими глазами, мы никогда не забудем заповедные воды у Кременной. Власти запрещали там охоту – и правильно делали, но в двадцать втором году в окрестностях шли ожесточённые бои, и егерь Яков, занимавшийся своим браконьерским промыслом прямо у нас на глазах, подарил для отвода глаз командиру нашей роты, певцу Димке Кресту, губную гармошку. Он научил Димку своим песням: многие из них были проникновенными, старинными напевами. За это мы все прощали лукавому егерю, потому что его песни были нам необходимы: никто не видел тогда конца войне, и один Димка улаживал звоном и грустью наши изнурительные переходы. Кровавый след тянулся по этой дороге. Песня летела над нашим следом. Так было под Лисичанском и в лесных массивах, так было под Белогоровкой и в окрестностях Бахмута, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, а Димка Крест, ротный запеваля, ещё не созрел для смерти...

Вот и в этот вечер, когда я разочаровался в хозяйском борще, Димка смирил меня своим приглушённым и дрожащим голосом.

«Полюшко-поле, – пел он, – полюшко, поле, да кто ж тебя усеял мёртвыми головами...»

И я слушал его, развалившись в углу на гнилой подстилке. Тоска ломала мне кости, тоска трясла подо мной истлевший матрас, сквозь горячий её поток я едва различал старуху, подпиравшую рукой увядшую щёку. Опустив поникшую голову, она стояла у стены неподвижно и не сдвинулась с места после того, как Димка закончил играть. Димка закончил и отложил гармошку в сторону, он зевнул и улыбнулся, как после долгого сна, а потом, видя запустение в нашей вдовьей лачуге, смахнул сор с лавки и принёс ведро воды в дом.

– Вишь, соколик, – сказала ему хозяйка, почесалась спиной о дверной косяк и указала на меня, – вот начальник твой приходил наемни, накричал на меня, натопал, отобрал ключи от моего хозяйства и оружие мне выложил... Это грех от бога – мне оружие выкладывать: ведь я женщина...

Она снова почесалась о дверь и стала накидывать одеяла на сына. Сын её храпел под иконой на большой кровати, заваленной тряпьем. Он был немой парень с оплывшей, раздувшейся белой головой и с огромными ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему грязный нос и вернулась к столу.

– Хозяюшка, – сказал ей тогда Димка и тронул её за плечо, – если хотите, я вам внимание окажу...

Но бабка словно не слышала его слов.

– Никакого борща я не видала, – сказала она, подпирая щёку, – ушёл он, мой борщ; мне люди одно оружие показывают, а если бы попался хороший человек, и полакомиться бы с ним впору, да вот такая тошнота напала, что и греху не обрадуюсь...

Она нудно ныла, жалуясь на жизнь, и, бормоча что-то невнятное, отодвинула к стене молчаливого сына. Сашка пристроился рядом с ней на стареньком матрасе, а я попытался отвлечься и придумать себе приятные мысли, чтобы уснуть с легким сердцем.

Их было девять.

Девять пленных больше не дышат. Я чувствую это всем своим существом. Когда Седых, командир отделения из местных, прикончил долговязого контрактника, я сказал начальнику штаба:

— Пример Седых разлагает мораль бойцов. Нужно отправить их в штаб для допроса.

Начальник штаба согласился. Я достал из рюкзака ручку и блокнот и вызвал Седых.

— Ты смотришь на мир через призму своих убеждений, — сказал он, глядя на меня с неприязнью.

— Да, через призму, — ответил я. — А ты как смотришь на мир, Седых?

— Я смотрю через горечь нашей тяжелой жизни, — сказал он и подошел к пленному, держа в руках камуфляжную куртку с оторванными рукавами. Куртка явно была мала. Рукава едва доходили до локтей. Тогда Седых ощупал пальцами термобелье пленного.

— Ты офицер, — сказал Седых, прикрывая глаза от солнца.

— Нет, — услышали мы уверенный ответ.

— Наши такие не носят, — пробормотал Седых и замолчал. Он молчал, вздрагивал, смотрел на пленного, глаза его наливались кровью и расширялись.

— Мать купила, — сказал пленный твердо. Я обернулся и посмотрел на него. Это был молодой парень с узкими плечами. На бледных щеках его виднелась легкая щетина.

— Мать купила, — повторил он и опустил взгляд.

— В военторге твоя мать отоваривается, — подхватил Андрюха Сыч, круглолицый парень с русыми волосами, тот самый, который стащил берцы с раненого контрактника. Берцы эти были перекинуты через его седло мотоцикла. Смеясь, Андрюха подъехал к Седых, осторожно снял у него с руки куртку, кинул к себе на сиденье поверх берцев и, легонько газанув, уехал от нас.

Солнце внезапно вышло из-за туч. Оно ослепительно осветило мотоцикл Андрюхи, его веселый ход, беспечные покачивания его грязного номера. Седых с недоумением посмотрел вслед уезжающему парню. Он обернулся и увидел меня, составлявшего список пленных. Потом он увидел молодого человека с легкой щетиной. Тот поднял на него спокойные глаза равнодушной юности и слегка улыбнулся его растерянности. Тогда Седых сложил руки рупором и крикнул: «Россия еще жива, Андрей. Рано делить шкуру неубитого медведя. Скидай барахло!»

Андрей и ухом не повел. Он ехал, и мотоцикл его резво подпрыгивал на кочках, словно отмахивался от нас.

— Предательство, — прошептал тогда Седых, произнося это слово по слогам, и стал жалким, и застыл. Он опустился на колено, прицелился и выстрелил, и промахнулся. Андрей мгновенно развернул мотоцикл и поехал к Седых в упор. Румяное и цветущее лицо его было сердито.

— Слышь, земляк, — закричал он звонко и вдруг обрадовался звуку своего сильного голоса, — как бы я не врезал тебе, командир, чтоб ты знал свое место. Тебе одного контрактника прибрать — ты вон какую суету поднял. По десятку убирали, тебя в помощь не звали... Если ты рабочий — так выполняй свою работу...

Андрюшка, окинув нас самодовольным взглядом, умчался галопом. Комвзвода даже не взглянул ему вслед. Он схватился за лоб. Кровь хлестала, словно ливень с крыши. Лежа на животе, он пополз к ручью и надолго погрузил в еле живую воду свою разбитую, окровавленную голову...

Девять пленных мертвы. Я чувствую это всем сердцем. Сидя в седле, я составил их список, тщательно расчерченный. В первом столбце были порядковые номера, во втором — имя и фамилия, в третьем — название подразделения. Всего получилось девять пунктов. Четвертым в списке значился Адольф Шульмейстер, лодзинский торговец, еврей. Он постоянно терся возле моего коня и гладил сапог дрожащими, заискивающими пальцами. Нога у него была сломана

прикладом. За ним тянулся тонкий след, как за раненой хромою собакой, а на его плешиной, оранжевой голове блестел пот.

– Вы Jude, пан, – шептал он, судорожно касаясь моего стремени. – Вы – Jude, – визжал он, брызжа слюной и корчась от радости.

– В строй, Шульмейстер, – крикнул я еврею, и вдруг, охваченный смертельной слабостью, начал сползать с седла и, задыхаясь, спросил: – Откуда вы знаете?

– Еврейский сладкий взгляд, – взвизгнул он, прыгая на одной ноге и волоча за собой тонкий собачий след. – Сладкий взгляд у вас, пан.

Я едва оторвался от его предсмертной суеты. Приходил в себя медленно, как после контузии.

Начальник штаба отдал распоряжения и уехал в расположение частей.

Пулеметы втаскивали на пригорок, словно телят, на веревках. Они двигались гуськом, как дружное стадо, и успокаивающе лязгали. Солнце играло на их пыльных стволах. Я увидел радугу на железе. Поляк, молодой парень с вьющимися бакенбардами, смотрел на них с деревенским любопытством. Он подался корпусом вперед и открыл мне Голова, выползавшего из канавы, внимательного и бледного, с разбитой головой и винтовкой на изготовку. Я протянул руки к Голову и закричал, но звук застрял и распух в моем горле. Голова быстро выстрелил пленному в затылок и вскочил на ноги. Удивленный поляк повернулся к нему, сделав полный оборот, словно на плацу. Медленно, как отдающаяся женщина, он поднял обе руки к затылку, рухнул на землю и умер мгновенно.

Улыбка облегчения и покоя появилась на лице Голова. К нему быстро вернулся румянец.

– Нашему брату матка таких подлецов не родит, – сказал он мне лукаво. – Убрал одного, давай расписку на восемь штук...

Я отдал ему записку и произнес с отчаянием:

– Ты за все ответишь, Голова.

– Отвечу, – закричал он с нескрываемым торжеством. – Не тебе, очкарику, а своему брату, сормовскому. Свой брат разберется...

Девять пленнх мертвы. Я знаю это сердцем. Сегодня утром я решил отслужить панихиду по убитым. В нашей бригаде некому это сделать, кроме меня. Наш отряд сделал привал в разрушенном хуторе. Я взял дневник и пошел в цветник, который еще уцелел. Там росли гиацинты и голубые розы.

Я принялся составлять рапорт о гибели лейтенанта и девяти бойцов, но привычный гул прервал меня. Черненко, штабная крыса, затеял войну с осами. Димка, краснощекий парень из Орла, тащился за ним с дымящим факелом. Головы обмотаны плащ-палатками, в узких прорезях полыхали глаза. Тучи ос атаквали захватчиков, гибли возле гнезд. Я отложил ручку. Меня охватил ужас от количества похоронок, которые мне предстояло выписать.

Примечания

1

"Берестечко, 1820. Польша, дорогой, говорят, император Бонапарт умер, это правда? Чувствую себя хорошо, роды прошли легко, нашему маленькому богатырю семь недель." (фр.)

2

Маслов – командир первой бригады четвертой дивизии, неутомный рубака, вскоре предавший Советскую власть.

КОННИЦА

Санька Христос

Санька – так его звали, а Христом прозвали за смирение. Он был пастухом в станице и не занимался тяжелым трудом с четырнадцати лет, с тех пор как подхватил заразу. Дело было так:

Тараканыч, Сашкин отчим, уехал на зиму в Грозный и устроился там в бригаду. Бригада оказалась удачная, из мужиков рязанских. Тараканыч занимался плотницкими работами, и

достаток его рос. Он не справлялся с делами и вызвал мальчика в подмастерья: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал у отчима неделю. Потом наступила суббота, они закончили работу и сели пить чай. Был октябрь, но воздух был теплый. Они открыли окно и поставили второй самовар. Под окнами бродила нищенка. Она постучала в раму и сказала:

- Здравствуйте, приезжие крестьяне. Обратите внимание на мое бедственное положение.
- Какое там положение? – спросил Тараканыч. – Заходи, убогая.

Нищенка зашуршала за стеной и вошла в комнату. Она подошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за платок, сдернул его и почесал в волосах. У нищенки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

– Фу ты, какой мужик хваткий и статный, – сказала она, – цирк чистый с тобой... Пожа-луйста, не гнушайтесь мной, старушкой, – прошептала она торопливо и взобралась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Нищенка запрокидывала голову и смеялась.

– Дождик на старуху, – смеялась она, – двести центнеров с гектара дам...

И, сказав это, она увидела Сашку, который пил чай за столом и не поднимал глаз.

– Твой парень? – спросила она Тараканыча.

– Вроде моего, – ответил Тараканыч, – жены.

– Вон, глазищи вытарашил, – сказала баба. – Ну, иди сюда.

Сашка подошел к ней – и заразился. Но о болезни в тот момент никто не думал. Тараканыч дал нищенке костей с обеда и серебряный пятак, очень блестящий.

– Почисть его, богомолка, песком, – сказал Тараканыч, – он еще краше станет. В темную ночь одолжишь его господу богу, пятак вместо луны светить будет...

Калерия, повязав голову платком, собрала обглоданные кости и ушла. Спустя две недели для мужиков все стало очевидно. Зимой их мучила непонятная хворь, перемогали ее травами, а с приходом тепла засобирались в хутор, к своим крестьянским делам.

Хутор от станции отделяли двенадцать километров. Егор и Сашка шли полем. Апрельская земля дышала влагой. В темных лужах поблескивали изумрудные отблески. Молодая зелень пробивалась сквозь землю тонкими нитями. От земли исходил кисловатый запах, как от уставшей женщины на рассвете. Первые стада коров спускались с холмов, телята резвились на фоне голубого горизонта.

Егор и Сашка двигались по едва заметным тропинкам.

– Отпусти меня, Егор, в колхоз пастухом, – попросил Сашка.

– С чего вдруг?

– Не могу больше терпеть, какая у пастухов жизнь вольная.

– Не согласен, – отрезал Егор.

– Ну, пожалуйста, Егор, ради всего святого, – взмолился Сашка. – Говорят, все мудрецы из пастухов вышли.

– Сашка-мудрец, – усмехнулся отчим, – как же.

Они обогнули Красный мост, миновали небольшую рощу, выгон и увидели крест на хуторской церкви.

Женщины еще копались в огородах, а казаки, расположившись в тени сирени, пили самогон и затягивали песни. До дома Егора оставалось метров семьсот.

– Дай бог, чтобы все обошлось, – произнес он и перекрестился.

Подойдя к дому, заглянули в окно. Внутри никого не было. Мать Сашки доила корову в хлеву. Мужики подкрались тихо. Егор расхохотался и закричал у нее за спиной:

– Матрена, ваше благородие, готовь гостям ужин!

Женщина обернулась, вздрогнула, выбежала из хлева и заметалась по двору. Затем вернулась к своему месту, бросилась Егору на грудь и зарыдала.

– Ну и дура же ты, – сказал Егор, мягко отстраняя ее. – Где дети?

– Ушли дети, – прошептала она, вся побелев, снова забегала по двору и упала на землю.  
– Алешенька... – закричала она отчаянно. – Ушли наши детки вперед ногами...

Егор махнул рукой и направился к соседям. Те рассказали, что мальчика и девочку забрала болезнь на прошлой неделе. Матрена писала ему, но, видимо, письмо не успело дойти. Егор вернулся в дом. Матрена растапливала печь.

– Вот ты и отделалась, Матрена, – сказал Егор. – Теперь тебя наказывать надо.

Он тяжело опустился на стул у стола, и тоска сдавила его сердце. Так и просидел до самого отхода ко сну, машинально поглощая тушенку и запивая ее дешевой водкой, не обращая внимания на домашние дела. Заснул прямо за столом, всхрапывая и просыпаясь снова и снова. Галина расстелила постель для себя и мужа на диване, а для Саньки – на раскладушке в углу. Погасив ночник, она прилегла рядом с мужем. Санька ворочался на своей раскладушке, глаза его были широко открыты. Он не мог заснуть, и в полумраке видел очертания комнаты, тусклый свет уличного фонаря в окне и край стола, заваленного всяким хламом. Навязчивые видения овладевали им, он поддавался мечтам и находил утешение в своих грезах наяву. Ему представлялось, что с небес спускаются две серебряные нити, сплетенные в толстый канат, к которым подвешена люлька, сделанная из розового дерева с причудливыми узорами. Она плавно покачивается высоко над землей и далеко от небес, и серебряные канаты мерцают в лунном свете. Санька лежит в этой люльке, и его обдувает легкий ветерок. Воздух наполнен звуками, похожими на музыку, доносящуюся с полей, а над еще не созревшей пшеницей сияет радуга.

Санька наслаждался своими грезами наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть грязные вещи, сваленные под диваном матери. Вскоре он услышал тяжелое дыхание, доносившееся с дивана Галины, и подумал о том, как этот алкаш Игнатыч пристаёт к матери.

– Игнатыч, – громко произнес он, – мне нужно с тобой поговорить.

– Какие разговоры ночью? – сердито проворчал Игнатыч. – Спи, щенок...

– Клянусь, дело важное, – ответил Санька, – выйди во двор.

И во дворе, под светом яркой звезды, Санька сказал отчиму:

– Не обижай мать, Игнатыч, ты же пропащий.

– А ты знаешь мой характер? – спросил Игнатыч.

– Я знаю твой характер, но ты видел мать? Она же еще молодая. Не обижай ее, Игнатыч.

Мы все тут пропащие.

– Слушай, парень, – ответил отчим, – держись подальше от меня и моего характера. Вот тебе сто рублей, проспи ночь, протрезвись...

– Мне твои деньги не нужны, – пробормотал Санька, – отпусти меня работать на ферму...

– С этим я не согласен, – отрезал Игнатыч.

– Отпусти меня на ферму, – настаивал Санька, – иначе я расскажу матери, какие мы есть.

За что ей страдать с нами...

Игнатыч отвернулся, зашел в сарай и вынес топор.

– Господи, – прошептал он, – вот и все... я зарублю тебя, Санька...

– Ты не станешь рубить меня из-за бабы, – тихо сказал мальчик и приблизился к отчиму, – тебе же жалко меня, отпусти меня на ферму...

– Черт с тобой, – сказал Игнатыч и бросил топор, – иди на ферму.

И он вернулся в дом и лег спать со своей женой.

В то самое утро Сашка отправился к контрактникам записываться, и с тех пор стал жить при части, вроде подсобного рабочего. Прославился он по всей округе своей наивностью, получил от местных прозвище «Сашка-дурачок» и проработал так до самой мобилизации. Старики, те что поворчливее, приходили к нему в гараж почесать языки, бабы прибегали к Сашке поплакаться на безумные выходки мужей и не обижались на Сашку за его чудачества и за его странности. С мобилизацией своей Сашка попал в самый разгар конфликта. Он пробыл на войне

почти четыре года и вернулся в город, когда там бесчинствовали мародёры. Сашку уговорили поехать в станицу Раздорскую, где формировался отряд против беспредела. Бывалый прапорщик – Семен Матвеевич Будёнков – руководил всем в этом отряде, и при нём были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка поехал в Раздорскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Будёнкова, в бригаде его, в дивизии и в Первой штурмовой роте. Он ходил выручать героический Мариуполь, соединился с Десятой армией Володина, сражался под Волновахой, под Угледаром и у Антоновского моста на Днепре. В харьковскую операцию Сашка вступил обозным, потому что был ранен и считался ограниченно годным.

Вот как всё это было. С недавних пор я познакомился с Сашкой-дурачком и переложил свой рюкзак в его "буханку". Нередко встречали мы рассвет и провожали закаты. И когда прихоть командования соединяла нас – мы садились по вечерам у светящейся палатки или кипятили в лесу чай в закопчённом термосе, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге уставшего коня.

Инструкция по "буханке"

Мне прислали из штаба водителя, или, как принято у нас говорить, шофёра. Фамилия его Гришин. Ему сорок один год.

Пробыл он шесть лет в украинском плену, несколько месяцев назад бежал, прошёл Беларусь, северо-запад России, добрался до Брянска и в Орле был пойман самой тупой в мире мобилизационной комиссией и водворён на военную службу. До Клинцовского района, откуда Гришин родом, ему осталось сто километров. В Клинцовском районе у него жена и дети. Он не был дома шесть лет и три месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим шофёром, и я перестал быть изгоем среди контрактников.

Я — обладатель "буханки" и шофёра в ней. "Буханка"! Это слово стало основой треугольника, на котором зиждется наша реальность: воевать — "буханка" — риск...

По прихоти этой братоубийственной свары, обычная телега, какие используют в сельсовете, превратилась в грозное и мобильное орудие войны. Она породила новую стратегию, новую тактику, до неузнаваемости изменила облик сражений, создала своих героев и гениев. Таким был Батя – так его звали в народе – командир от Бога, сделавший тачанку осью своей загадочной и хитроумной стратегии. Он упразднил пехоту, артиллерию и даже кавалерию, заменив эти неповоротливые громады тремя сотнями пулеметов, установленных на бричках. Батя был многолик, как сама природа. Возы с сеном, выстроившись в боевой порядок, брали города. Свадебный кортеж, подъезжая к зданию местной администрации, открывал шквальный огонь, и тщедушный священник, развернув над собой черное знамя анархии, требовал от властей выдачи богатеев, выдачи работяг, вина и музыки.

Армия на тачанках обладала неслыханной маневренностью.

Комбриг Вихров показал это не хуже Бати. Разбить такую армию трудно, выловить – немислимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, спрятанная в крестьянском сарае, – они переставали быть боевыми единицами. Эти затаившиеся точки, предполагаемые, но неосязаемые элементы, в сумме давали картину недавнего украинского села – свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с амуницией, рассованной по углам, Батя в один час приводил в боевую готовность; еще меньше времени требовалось, чтобы ее демобилизовать.

У нас, в регулярной бригаде Вихрова, тачанка не играла столь исключительной роли. Однако все наши пулеметные расчеты передвигались исключительно на бричках. Казачья смекалка различала два вида тачанок: хозяйственные и чиновничьи. Да это и не выдумка, а реально существующее разделение.

На чиновничьих бричках, на этих разболтанных, сделанных без души и изобретательности повозках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое начальство, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на осмотры и следствия. А хозяйственные тачанки

пришли к нам из самарских и уральских, приволжских земель, из крепких немецких поселений. На дубовых просторных бортах хозяйственной тачанки красовалась добротная роспись – пышные гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища были окованы железом. Ход был поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по разбитой донецкой дороге.

Восторг первого обладания переполнял меня. Каждый день после полудня мы готовили коней к выезду. Елизаров выводил их из стойл. Животные заметно прибавляли в весе. Я с гордостью замечал, как лоснится их вычищенная шерсть. Мы растирали им уставшие ноги, подстригали гривы, надевали казацкую сбрую – сложную сеть из тонких ремней, местами потрескавшихся от времени – и выезжали со двора неспешной рысью. Елизаров сидел на козлах, немного боком; мое место было устлано цветастым покрывалом и сеном, источавшим аромат полевых трав и покоя. Высокие колеса поскрипывали на песчаной дороге. Красные квадраты маков расцвечивали поля, а на холмах виднелись остовы разрушенных церквей. Высоко над дорогой, в нише, пробитой, вероятно, снарядом, стояла потемневшая статуя святой Варвары с обнаженными руками. Узкие, старинные буквы складывались в неровную фразу на почерневшем золоте фронтона: «Во славу Иисуса и его божественной матери...».

У подножия помещичьих усадеб жались друг к другу бедные еврейские поселки. На кирпичных стенах заборов виднелся павлин, словно мираж в голубой дымке. За покосившимися лачугами пряталась синагога, прижавшаяся к земле, слепая, обветшалая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие люди печально стояли на перекрестках. В памяти всплывали образы южных евреев, полных жизни, упитанных, искрящихся, как дешевое игристое вино. Как же отличались от них эти длинные, костлявые спины, эти желтые, трагические бороды. В их лицах, словно высеченных болью, не было ни капли жира, ни теплого биения крови. Движения евреев из Галиции и Волыни были резкими, порывистыми, оскорбительными для взгляда, но в их скорби чувствовалась мрачная сила, а тайное презрение к местным богачам было безграничным. Глядя на них, я словно видел всю историю этого края, рассказы о талмудистах, державших кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские солдаты и из-за которых стрелялись польские магнаты.

Кладбище в Заречном

Еврейское кладбище в небольшом поселке. Древний Восток и тлен на заросших травой полях.

Серые камни, обточенные временем, с надписями трехсотлетней давности. Грубые горельефы, высеченные на граните. Изображения рыбы и овцы над мертвой головой. Изображения раввинов в меховых шапках, подпоясанных ремнем. Под слепыми лицами – волнистые каменные бороды. В стороне, под дубом, пораженным молнией, стоял склеп раввина Азраила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения покоились в этой усыпальнице, бедной, как жилище водоноса, и позеленевшие плиты пели о них молитвой бедуина:

«Азраил, сын Анания, уста Господа.

Илия, сын Азраила, разум, боровшийся с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатом году жизни.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, почему ты не пощадил нас хотя бы раз?»

Комбриг Два

Иванов в камуфляжных штанах стоял у дерева. Только что погиб комбриг Два. На его место командующий назначил Сидорова.

Всего час назад Ермаков командовал полком. А еще неделей раньше – эскадром.

Новоиспеченного комбрига вызвали к генералу Захарову. Командарм дожидался, стоя в тени раскидистой березы. Ермаков прибыл вместе со своим комиссаром, Сорокиным.

– Жмут нас, гады, – произнес командарм, озаряя все вокруг своей фирменной усмешкой.  
– Победим или сдохнем. Другого не дано. Уяснил?

– Так точно, – ответил Ермаков, слегка вытаращив глаза.

– А вздумаешь бежать – лично расстреляю, – добавил Захаров, улыбнулся и перевел взгляд на начальника особого отдела.

– Слушаюсь, – отрапортовал тот.

– Давай, Ермак, жми! – бодро выкрикнул какой-то казак из окружения.

Захаров резко развернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот, вытянув у козырька пятерню красных от волнения пальцев, вспотел и пошел по вспаханной полосе. Лошади ждали его метрах в двухстах. Он шел, опустив голову, медленно переставляя свои длинные ноги. Багровый закат разливался над ним, зловещий и нереальный, словно предвестие неминуемой гибели.

И вот, на раскинувшейся земле, на изрытой и обнаженной желтизне полей, мы увидели его одного – узкую спину Ермакова с безвольно болтающимися руками и поникшей головой в серой кепке.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и понесся к своей бригаде, не оглядываясь. Эскадроны ждали его у трассы, у Ростовского шоссе.

Глухое «ура», подхваченное ветром, донеслось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, кружившего на коне в клубах густой пыли.

– Ермаков повел бригаду в атаку, – доложил наблюдатель, сидевший на дереве над нами.

– Есть, – ответил Захаров, закурил сигарету и прикрыл глаза.

«Ура» стихло. Канонада затихла. Бесплезная шрапнель разорвалась над лесом. И мы услышали зловещую тишину рукопашной.

– Душевный парень, – произнес командарм, поднимаясь. – Чести ищет. Надо думать, выдюжит.

И, приказав подать коней, Захаров уехал к месту сражения. Штаб последовал за ним.

Ермакова мне довелось увидеть в тот же вечер, спустя час после того, как позиции ВСУ были взяты. Он ехал впереди своей бригады, один, на гнедом жеребце и клевал носом. Правая рука его была на перевязи. В десяти шагах от него казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон нестройно затягивал похабные частушки. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как вереница крестьянских повозок на ярмарку. В хвосте еле дышали уставшие оркестры.

В тот вечер в посадке Ермакова я увидел властное равнодушие татарского хана и узнал выучку прославленного Волкова, своевольного Денисова, пленительного Кузнецова.

Дорога на Донецк.

Я скорблю о дронах. Они уничтожены враждующими сторонами. В Донбассе больше нет дронов.

Мы осквернили ангары. Мы жгли их топливом и взрывали гранатами. Дымящиеся обломки издавали зловоние в священных рощах дронов. Умирая, они летали медленно и жужжали еле слышно. Лишенные неба, мы ракетами добывали информацию. В Донбассе больше нет дронов.

Лента новостей о зверствах давила на меня неотступно, словно аритмия. Вчера был день первого столкновения под Липками. Заблудившись в серой полосе, мы не предвидели этого – ни я, ни Димка Щербак, мой товарищ. Коням дали утром комбикорм. Пшеница стояла стеной, солнце палило нещадно, и душа, не достойная этого ослепительного и ускользающего дня, тосковала по тихой боли.

– Про пчелу и её душу, – начал замкомвзвода, мой друг, – бабки в деревнях рассказывают всякое. Обидел народ Всевышнего, или не было того, – это потом разберут. Но вот, – говорят бабки, – тоскует Он на кресте. И подлетает к Нему всякая мошка, чтобы досаждать! И Он

смотрит на неё с грустью. Но мошка не видит Его глаз. И тут же летает вокруг Него пчела. «Бей его, – кричит мошка пчеле, – бей его за нас!..» – «Не могу, – говорит пчела, поднимая крылья, – не могу, Он же плотник...» Пчелу понять надо, – заключил Димка, мой замкомвзвода. – Пусть пчела потерпит. И ради неё ведь воюем...

И, махнув рукой, Димка затянул песню. Это была песня о буланом коне. Восемь контрактников – Димкин взвод – стали ему подпевать.

– Буланный конь, по кличке Ветер, принадлежал есаулу, спившемуся в день поминовения Иоанна Предтечи. – Так пел Димка, вытягивая голос, как нить, и засыпая. – Ветер был преданный конь, а есаул по праздникам не знал меры своим желанием. Было пять стаканов в день поминовения. После четвёртого есаул сел на коня и стал скакать в небо. Подъём был долог, но Ветер был верный конь. Они приехали на небо, и есаул хватился пятого стакана. Но он был оставлен на земле – последний стакан. Тогда есаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, а Ветер прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Димка, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его багровые потоки стекали по вышитым рушникам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом посевов. На холме ютилась глинобитная деревушка Осокино. За перевалом нас ждало видение мертвенных и изрытых Липок. Но у Осокино нам в лицо громко щёлкнул выстрел. Из-за дома выглянули два солдата ВСУ. Их кони были привязаны к столбам. На холм торопливо въезжала лёгкая артиллерия противника. Пули полосами прочертили дорогу.

– Газу! – скомандовал Димка.

И мы рванули.

О Липки! Мумии твоих раздавленных надежд дышали на меня невыносимой горечью. Я ощущал уже ледящий холод глазниц, полных застывшей тоски. И вот – бешеная скачка уносит меня от изъеденного камня твоих развалин...

Конкин

Мы знатно потрепали этих контрактников под Липками. Так их месили, что березы гнулись к земле. С самого утра меня зацепило, но я держался бодрячком, вполне себе. День клонился к закату. Я оторвался от штаба бригады, и за мной увязалось всего-то пятеро добровольцев. Вокруг все в бою, как в танце, а из меня кровь сочится понемногу, конь мой передом брызжет... Короче говоря.

Высочили мы со Степаном Бедовым подальше от рощицы, смотрим – картина маслом... Метрах в трехстах, не больше, пыль столбом – то ли штаб едет, то ли тылы. Штаб – хорошо, тылы – еще лучше. У ребят снаряга поистрепалась, форма такая, что дальше ротации не доживет.

– Бедов, – говорю я Степану, – мать твою так и эдак, предоставляю тебе слово, как самому разговорчивому, – это ведь их штаб отходит...

– Может, и штаб, – говорит Степан, – но нас двое, а их восемь...

– Плюнь, Степан, – говорю, – все равно я им мундиры запачкаю... Умрем за тушенку и справедливую Россию...

И рванули вперед. Их было восемь стволов. Двоих мы сняли сразу, еще на подлете. Третьего, вижу, Степан тащит в комендатуру для проверки документов. А я целюсь в самого жирного. Полковник, ребята, при погонах и часах. Прижал я его к дачному поселку. Поселок весь в яблонях и сливах. Конь под моим полковником как иномарка, но упирается. Бросает тогда этот вояка поводья, хватает пистолет и простреливает мне ногу.

«Ничего, – думаю, – будешь мой, раскорячишься...»

Выжимаю газ и всаживаю в коня два патрона. Жалко было коня. Зверь был боевой, настоящий. Рыжий весь, как золото, хвост трубой, нога как стрела. Думал – живым в Москву привезу, ан нет. Пришлось его прикончить. Рухнул он, как подкошенный, и полковник мой с седла

слетел. Рванул в сторону, потом обернулся и еще одну дырку мне в боку сделал. Итого, три ранения в бою с врагом.

«Господи, – думаю, – он же меня сейчас случайно убьет...»

Подскакал я к нему, а он уже нож выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, как у ребенка.

– Даешь медаль «За Отвагу»? – кричу. – Сдавайся, пока я жив, генерал недоделанный!

– Не могу, парень, – отвечает старик, – ты меня зарежешь...

А тут Степан передо мной, как тряпка на ветру. Весь в поту, глаза навывкате.

– Вася, – кричит он мне, – жуть, как хочу его прикончить! А это ведь генерал, на нем форма, мне бы его добить.

– Иди лесом, – говорю я Бедову и злюсь, – мне его форма дороже крови.

И конем своим загоняю я генерала в сарай, сено там было или что. Тишина там, темнота, прохлада.

– Дядь, – говорю, – угомони свою старость, сдайся ради бога, и мы отдохнем с тобой...

А он дышит у стенки тяжело и трет лоб красным пальцем.

– Не могу, – говорит, – ты меня зарежешь, только генералу Шойгу отдам я свой кортик...

Шойгу ему подавай. Эх, беда ты моя! И вижу – пропадает старик.

— Пан, — кричу я, захлебываясь слезами и скрежеща зубами, — слово бойца, я тут сам большой начальник. Не ищи на мне слабости, а должность есть. Должность, вот она — эстрадный пародист и кукольник из города Владимира... Владимир, что на Клязьме-реке...

И будто бес в меня вселился. Генеральские глаза сверкнули, как фары. Красная пелена застлала взор. Обида жгла, как кислота, потому что видел — не верит мне старик. Зажал я тогда зубы, ребята, втянул живот, набрал воздуха и понес по старинке, по-нашему, по-солдатски, по-владимирски, и доказал шляхтичу свое искусство.

Побледнел тут старик, схватился за грудь и осел на землю.

— Веришь теперь Ваське-артисту, комиссару третьей мотострелковой бригады?..

— Комиссар? — вопит он.

— Комиссар, — отвечаю я.

— Коммунист? — надрывается он.

— Коммунист, — говорю я.

— В час моей смерти, — кричит он, — в последний мой вздох скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или лжешь?

— Коммунист, — отвечаю.

Садится тут старик на землю, целует какой-то крестик, ломает пополам шашку и зажигает два огонька в своих глазах, два маяка над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдать коммунисту, — и протягивает мне руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю, с неизменным своим юмором, рассказал нам однажды на привале Конкин, политический офицер N...ской мотострелковой бригады и трижды награжденный орденом Мужества.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договорился ли с ним?.. Гордый попался. Еще ему кланялся, а он упирается. Бумаги мы у него тогда забрали, какие были, пистолет забрали, седло его, чудака, и до сих пор у меня. А потом, вижу, кровь из меня хлещет все сильнее, кошмар на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

Жизнеописание Павличенко, Матвея Родионовича

Земляки, товарищи, братья мои! Так осознайте же во имя справедливости жизнеописание полковника Матвея Павличенко. Он был чабан, тот полковник, чабан в фермерском хозяйстве "Рассвет", у фермера Никитина, и пас фермеру овец, пока не вышла ему от судьбы нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти коров. И кто его знает, — родись он в Аргентине, Матвей наш, свет Родионович, то вполне возможно, друзья, он и до лам добрался бы, лам стал бы пасти Матюшка, если бы не это мое горе, что неоткуда взяться ламам в Ростовской нашей области. Крупнее быка, откровенно вам скажу, нет у нас животного в Ростовской степной нашей стороне. А от быка бедняк утешить себе не добудет, русскому человеку над быками издеваться скучно, нам, сиротам, лошадь подавай, чтобы душа у нее на меже с боками бы вылезла...

И вот, пасу я свою технику, дроны вокруг меня жужжат, как пчелы вокруг улья, соляжкой от меня несет за километр, будто я цистерна с топливом, а вокруг меня, для порядка, "Тигры" стоят, серые такие, мышастые. Воля вокруг меня раскинулась по полям, трава под колесами хрустит, а небо над головой разворачивается, как купол парашюта. Эх, ребята, какое небо бывает в Ростовской области! И пасу я так, от скуки с ветром на губной гармошке пере-кликаюсь, пока один дед не говорит мне:

— Сходи, — говорит, — Макар, к Ирине.

— Зачем? — спрашиваю. — Или ты, дед, надо мной подшучиваешь?

— Сходи, — говорит, — она просит.

И вот, иду я.

— Ирина! — кричу я, и кровь моя кипит. — Ирина, — говорю, — ты что, издеваешься?

Но она не отвечает, срывается с места и бежит со всех ног, и я за ней, и бежим мы так, пока не остановились на краю поля, оба красные, запыхавшиеся.

— Макар, — говорит мне Ирина, — три недели назад, когда первые колонны шли на передовую, ты тоже так шел, голову опустив. Почему ты голову опустил, Макар? Что тебя гложет? Ответь мне...

И я отвечаю ей:

— Ирина, — говорю, — нечего мне тебе отвечать. Голова моя не миномет, прицела на ней нет. А сердце мое тебе известно, Ирина, оно пустое, соляжкой пропитано. Ужас, как от меня соляжкой несет...

И вижу я, что Ирину мои слова задели.

— Да чтоб тебя! — говорит она, смеется сквозь слезы, громко, на всю степь, как будто в барабан бьет. — Да чтоб тебя! Ты с девками заигрываешь...

И поговорив немного всякой ерунды, мы с ней вскоре поженились. И стали мы жить с Ириной, как умели, а уметь мы умели. Ночи напролет нам жарко было, даже зимой жарко было, всю ночь мы, как угорелые, друг друга обнимали. Хорошо жили, как кошки с собаками, пока не явился ко мне дед во второй раз.

— Макар, — говорит он, — генерал твою жену зажимал, он ее добьется, генерал...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и прости меня, дед, но я тебя сейчас здесь прикопаю.

И дед, конечно, дал деру, а я в тот день пешком километров тридцать намотал, огромный кусок земли истоптал, и вечером оказался в штабе бригады у нашего веселого генерала Свиридова. Он сидел в кабинете, старый хрыч, и рассматривал три карты: наступления, обороны и отступления. А я стоял у двери, как пень, целый час стоял, и ничего не происходило. Но потом он на меня посмотрел.

— Чего тебе надо? — спрашивает.

— Хочу в отпуск.

— Ты что, против меня что-то затеваешь?

— Ничего не затеваю, просто хочу.

Тут он отвел глаза в сторону, свернул с прямой дороги в переулок, расстелил на полу красные коврики, ярче, чем флаги на параде, встал над ними, как петух на насесте, и распетушился.

— Воля твоя, — заявил он мне, выпячиваясь, — я всех ваших мамаш, православные, насквозь видел. Расчет получишь, но скажи, дружок мой Матвей, не должен ли ты мне чего по мелочи?

— Хи-хи, — отвечаю, — какие вы затейники, ей-богу, какие затейники! Это мне с вас причитается, между прочим...

— Причитается, — проскрипел мой хозяин, набрасываясь на меня и пиная ногами, и припоминая мне все грехи, — причитается ему, а про сломанный дрон забыл? В прошлом году ты мне дрон разбил, где он, мой дрон?

— Дрон я тебе верну, — отвечаю я хозяину, глядя на него честными глазами и чувствуя себя ниже травы, — верну дрон, только не дави меня долгами, старый ты хрен, дай мне немного времени...

И что же, ребята мои ростовские, земляки, товарищи, братья, пять лет хозяин из меня долги выжимал, пять лет я пропадал, пока ко мне, к пропащему, не приехал в гости двадцать третий год. На крутых тачках приехал, на своих "Геликах". Большой кортеж за собой вел и музыку на полную. И эх, любимый ты мой, двадцать третий год! Неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, двадцать третий год... Растранижирили мы твои возможности, выпили твой коньяк, приняли твои законы, одни юристы нам от тебя остались. И эх, любовь моя! Не юристы летали в те дни по Донбассу и отправляли на тот свет вражеские души с близкого расстояния. Артем Родионович лежал тогда в крови под Бахмутом, и оставалось от Артема Родионовича до базы в Краматорске километров пять последнего рывка. Я и поехал туда один, без сопровождения, и, войдя в штаб, вошел туда спокойно. Местная администрация сидела там, в штабе, Денисов их чаем угощал и заискивал перед людьми, но увидев меня, помрачнел. А я кепку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте гостя, господа, или как тут у вас?

— Будет у нас тихо, по закону, — отвечает мне один, по акценту, кажется, чиновник какой-то, — будет у нас тихо, по закону, но ты, товарищ Павленко, ехал, видимо, издалека, грязь на тебе видна. Мы, администрация, не любим такого вида, что это такое?

— А это, — отвечаю, — администрация вы наша и хладнокровная власть, а это потому, что на моем лице одна щека пять лет горит, в окопе горит, с женой горит, на том свете гореть будет. На том свете, — говорю и смотрю на Денисова вроде как весело, а у него уже и лица нет, только глаза посреди лица стоят, как будто вставили ему шарики под лоб, и он этими шариками мне подмигивает тоже вроде как весело, но очень жутко.

— Матвей, — говорит он мне, — мы ведь знакомы были, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, из-за нынешних времен с ума сошла, а ведь она к тебе хорошо относилась, Надежда Васильевна, ты ее, Матвей, больше всех уважал, неужели ты не хочешь ее увидеть, когда она рассудка лишилась?

— Ладно, — ответил я, и мы прошли в соседнюю комнату. Там он начал трогать мои руки, сначала правую, потом левую.

— Матвей, — произнес он, — ты моя судьба или нет?

— Нет, — отрезал я, — и брось эти слова. Бог от нас, холопов, отвернулся. Судьба наша — лотерея, жизнь — копейка. Забудь эти речи, лучше послушай приказ.

— Мне? Никитину?

— Тебе, — сказал я, доставая книгу приказов. Открыл чистую страницу и начал читать, хотя сам был неграмотный до мозга костей. — «Именем народа, — читал я, — и для постро-

ения светлого будущего, приказываю Павличенко, Матвею Родионовичу, лишать жизни указанных лиц по его усмотрению...» Вот, — заключил я, — это тебе письмо от самого...

Но он возразил.

— Нет, — сказал Никитин, — Матвей, хоть жизнь наша катится в тартарары, и кровь в державе обесценилась, но тебе все равно придется испить свою чашу до дна, и ты забудешь мой смертный взгляд. Может, лучше я тебе тайник покажу?

— Показывай, — согласился я, — может, и правда лучше будет.

И мы снова двинулись по комнате, спустились в подвал. Там он отодвинул один кирпич и достал шкатулку. В ней лежали перстни, кольцо, ордена и жемчужное ожерелье. Он бросил шкатулку мне и замер.

— Твое, — сказал он, — владей сокровищем Никитиных и убирайся в свою Прикумскую берлогу...

Тут я схватил его за грудки, за горло, за волосы.

— А что мне делать с щекой? — спросил я, — что мне теперь делать, люди добрые?

Тогда он сам рассмеялся слишком громко и перестал сопротивляться.

— Шакалья совесть, — проговорил он, не вырываясь. — Я с тобой, как с офицером Российской империи говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй, сукин сын...

Но стрелять я не стал. Не должен я ему этой милости. Я потащил его наверх, в залу. Там сидела Надежда Васильевна, совсем тронутая. Она ходила по зале с шашкой наголо и смотрелась в зеркало. Когда я притащил Никитина, Надежда Васильевна бросилась в кресло. На ней была бархатная корона с перьями. Она уселась в кресло и взяла шашку на караул. И тогда я начал топтать моего барина Никитина. Я топтал его час или больше, и за это время я узнал жизнь сполна. Стрельба, — скажу я так, — это просто избавиться от человека. Стрельба — это помилование для него и гнусная легкость для себя. Стрельбой до души не доберешься, где она у человека есть и как она себя проявляет. А я себя не жалею. Я топчу врага час или больше, мне хочется узнать, что такое жизнь...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.